

Глава 10. Выживание

Новый, 1943, год я встретил в больнице Волимского лагпункта, куда меня положили в конце декабря с диагнозом пеллагра. Позже главный врач больницы, Казачёнок, объяснил, что на самом деле у меня была дистрофия, однако положить кого-либо в больницу с этим диагнозом было практически невозможно. Против этого категорически возражал начальник лагпункта, заявляя, что дистрофиков полная зона и если всех их класть в больницу, то некому будет заготавливать столь необходимый для страны лес. К тому же моя дистрофия, по мнению Казачёнка, действительно была осложнена пеллагрическими проявлениями, из-за которых так долго не заживала язва на ноге.

Больница размещалась в обычном бараке, разделённом на две секции - палаты. Между ними - процедурный кабинет и больничная кухня. Приготовление пищи и особенно закладка продуктов жестко контролировались главврачом, который хорошо понимал, что основным лекарством для большинства из его пациентов было улучшенное (по лагерным меркам) питание. Несмотря на запреты начальства, ему удавалось выписывать более качественные продукты, по сравнению с теми, что поступали в общелагерный котёл. В рационе больничного питания постоянно присутствовала овсяная каша, а в баланде - кусочки картофеля.

В центре нашей секции стояла железная печь с длинной колленчатой трубой. Топили её почти круглосуточно, от чего основание трубы накалялось докрасна. Около печи толпились больные, грея зябнувшие от слабости руки и поджаривая кусочки хлеба, а иногда и добытые на кухне картофельные очистки. Прогорклый, угарный воздух распространялся по палате. Врачи и санитары ругались, но исправить положение не могли. Внутри палаты полумрак, окна маленькие, заледеневшие, потолок закопчённый. Вместо нар - вагонки, сооружения, по конструкции, но не по исполнению напоминавшие те, что стоят в вагонах. Отсюда и название. Вагонки расшатанные, скрипучие, скреплённые крест на крест неструганными досками. Больные, занимавшие верхние места, поднимаясь, ударялись головой о потолок. Те, кто лежал внизу, особенно поблизости от двери, мёрзли. Но в целом, по лагерным меркам, условия были хорошими. На вагонках матрацы, подушки, одеяла и даже простыни. Неважно, что вата в матрацах и подушках свалилась в комки, а простыни в пятнах и разводах. Главное, что не голые доски и сравнительно тепло. Выдавали больным и

бельё, пусть пожелтевшее, застиранное, с разноцветными заплатами и палочками вместо пуговиц, но всё же бельё.

Большинство больных - пеллагрики, так, по крайней мере, было записано в историях их болезней. По моим тогдашним представлениям пеллагра – какая-то смесь дистрофии и цинги. Говорили, что на третьей стадии болезни желудок пеллагриков теряет способность усваивать пищу, и они продолжают жить лишь за счет оставшейся мышечной ткани. Теперь я знаю, что это очень наивное представление об этой болезни. Скорее всего, Казачёнок лукавил, скрывая под этим экзотическим, мало знакомым простым смертным диагнозом обычную дистрофию. Смотреть на этих больных было страшно - скелеты, обтянутые шершавой желто-серой кожей. У некоторых из них нарушена психика. Почти все обречены. Выживали лишь единицы. Но были в нашей палате и обычные больные, страдавшие колитами, язвами, нервными расстройствами, аппендицитом. В основном из obsługi и административно-технического персонала. Работяги на такие «интеллигентские» болезни обычно не жаловались. В больницу они попадали чаще всего с простудами, обморожениями и травмами.

Меня спасла мамина посылка и хорошее отношение главврача. Посылка пришла в середине января. В ней сухари, кусок сала и табак. Табак она положила, зная, со слов Пети, что в лагере он может быть обменён на хлеб. По совету Казачёнка сухари и сало отдал на хранение в больничную кухню, а табак через санитаря - в хлеборезку, откуда мне потом, в течение почти двух месяцев, давали дополнительно по двести граммов хлеба в день. Я стал быстро поправляться. Исчезла куриная слепота, слабость, сонливость. Стала заживать язва. Я со страхом следил за этими изменениями. Они грозили мне скорой выпиской и общими работами. Особенно неуютно чувствовал я себя по утрам, когда раздавались приглушённые расстоянием и стенами барака гулкие удары по рельсу: первый, возвещавший подъём, второй, требовательно зовущий на развод. Глядя на медленно наливающиеся густой синевой больничные стёкла, представлял себе пробуждающиеся бараки, до предела изнурённых, с трудом поднимающихся с нар людей, спёртый воздух, пропитанный запахом сохнувших портянок, пайпак и валенок. Лежа на больничной койке, физически ощущал состояние стоящих у вахты заключённых. Скоро и мне туда. Может быть, даже завтра. Ведь язва на ноге практически затянулась. Возможно, Казачёнок ждёт, когда во мне проснётся совесть, и я сам попрошусь из больницы.

Вскоре этот день наступил, правда, не по моей инициативе. Ждали высокую комиссию и больничный контингент подчистили. Меня нарядчик направил на хоздвор носить воду для кухни. Сначала я даже обрадовался. Работа при кухне - о чём ещё можно было мечтать. Но работа эта оказалась хуже лесоповала. Воду надо было таскать по крутому, почти отвесному берегу Камы, на высоту не менее 20 метров, поднимаясь по вырубленным в снегу ступеням. Снежная лестница, петляя, вела к основанию частотола зоны. Ступеней более ста. Над трёхметровой изгородью - что-то вроде воронки, от которой внутрь зоны, к столовой, вёл жёлоб, обледеневший и весь в сосульках. От основания частотола, к воронке, деревянная приставная лестница. Рядом вышка. На ней охранник с автоматом. Нас четверо - я и еще трое заключённых. Воды на кухню нужно было много. В котлы для варки баланды, в бачки с кипячёной водой, в чан с хвоей, в бочки для мытья овощей и посуды. Каждый из нас должен был поднять по шестьдесят ведер. Сорок до обеда и двадцать после. По нашему тогдашнему физическому состоянию это было очень много. Уже после пяти-шести ходок мы были еле живы. Но остановиться, пропустить очередь или хотя бы замедлить движение было нельзя. За этим внимательно следил охранник.

Отчётливо помню: прорубь, в руках два обледенелых ведра. Став на колени, черпаю воду. Поднимаюсь. Бросаю несколько горстей снега в ведра, чтобы не так плескалась вода. Иду. Сначала по занесённому снегом льду Камы, потом по вырубленным в снегу ступеням. Первые двадцать преодолеваю без особого труда. Затем поворот, передышка и ещё двадцать. С каждым новым поворотом идти труднее. Ноги дрожат, руки как плети, ведра задевают за ноги. Вода заливает пайпаки, лапти. Наконец, последний поворот - и вот она, деревянная лестница, ведущая к воронке. Её перекладыны покрыты льдом. Беру одно ведро и с ним, скользя обледеневшими лаптями, добираюсь до воронки. Усилием воли заставляю себя поднять ведро над головой и вылить. Ледяная вода затекает за рукава, льётся на голову, за шиворот. То же со вторым ведром. Затем спуск по облитым водой и обледеневшим ступеням, скошенным в сторону реки. От слабости трясутся ноги, кружится голова. Хочется броситься вниз, скользя по отвесному склону берега, в кровь обдирая руки о лед и снег, и либо погибнуть, либо снова попасть в больницу, подальше от этого ужаса. Но на это не хватает смелости, и мы, выбиваясь из сил, продолжаем движение: двое вверх, двое вниз. А вдоль реки непрерывно дует пронизывающий ветер с жёсткими, секущими лицо крупинками снега.

Вечером, когда начинало смеркаться, приходил конвой и нас отводили в зону. Мы шли, еле переставляя ноги и мечтая об одном, - скорее лечь. Но были и приятные минуты. На кухне, подалеже от глаз остальных зеков, нам давали по миске каши. Это было серьёзное подспорье, но всё же не компенсировало энергетических затрат. Мы постепенно теряли силы. К счастью, через пару недель нас перевели на заготовку дров для кухни. Принесённые штрафниками из леса двухметровые «пропуска» пилили на части и кололи. Но таких, «левых», дров обычно не хватало, т.к. значительную их часть забирала охрана на отопление вахты, вохровского общежития и квартир начальствующего состава. И тогда нас вели в лес, но не в рабочую зону, а в ближайшие лесосеки, где мы подбирали брошенную, нестандартную древесину и тащили её на хоздвор. Тащили на руках, ибо лошадей на лагпункте не хватало. И все же работа на хоздворе была легче, чем в производственной зоне, а питание лучше.

Поселили нас в бараке обслуги. А это какой никакой, а комфорт, признак принадлежности к первому привилегированному лагерному сословию. На нарах подстилки. Под головами нечто вроде подушек: старые телогрейки или мешки, набитые соломой или стружками. У некоторых одеяла и даже простыни. Почти все по утрам умывались, кое-кто даже чистил зубы. Дневальный следил за порядком, мыл пол, обеспечивал водой. Со временем и у меня появились матрац и старенькое одеяло. Правда, появилась и забота: пока я был на работе, их могли украсть. Жили в бараке в основном осуждённые по бытовым статьям: за опоздание на работу, за злоупотребление должностным положением, за мелкие хищения, за хулиганство и особенно много – по закону от седьмого-восьмого. Но были и политические, в основном «болтуны», осуждённые, как и я, по статье 58-10. Работали эти люди на самых разных участках системы лагерного обслуживания. Среди них повара, банщики, рабочие прачечной, санитары, сапожники, портные, дневальные, рассыльные. В основном люди пожилые или хроники, активированные по состоянию здоровья.

Благополучие жильцов нашего барака во многом определялось местом их работы. Естественно, что лучше других жилось работникам кухни, которые питались на своем рабочем месте и в барак продукты старались не приносить. Хорошо жили сапожники и портные, которым перепало кое-что из-за зоны в качестве платы за услуги вольнонаёмному составу. В значительной степени это зависело от их мастерства. Каждый, как и на воле, старался максимально использовать возможности, предоставляемые ему

должностью и профессией. По вечерам к плите было трудно подойти. Каждый варил то, что удалось раздобыть днём. Пару подмороженных картофелин, полугнилую капусту, кусок рыбы. Запахи зачастую весьма неприятные. Но этот приварок большинству спасал жизнь. Нашей четвёрке варить было нечего. Вынуждены были довольствоваться добавочной порцией, которую давали на кухне. Правда, теперь это была уже не каша, а черпак баланды. Кашу давали новым водоносам. Кроме меня, в бараке жили еще два немца - оба в летах, оба работали в цехе лаптеплетения. Плели мастерски. У них всегда было много заказчиков, даже среди вольнонаёмных. Я несколько раз пытался завязать с ними знакомство, но безуспешно. Вообще, в те военные годы немцы в лагере, не в пример лицам других национальностей, были не очень склонны поддерживать друг друга, а если и делали это, то по возможности незаметно.

Разговоров в бараке было много. Чаще всего обсуждались различные слухи и сплетни, особенно те, в которых речь шла о возможных изменениях в нормах питания и условиях быта. Боялись потерять те небольшие преимущества, которые имели. В феврале, после окружения и уничтожения армии Паулюса, настроение начальства, надзирателей и охраны заметно улучшилось. У заключённых появились надежды на улучшение питания и быта, на досрочное освобождение. Но реально ничего не изменялось. Дни тянулись за днями. Мы радовались лишнему черпаку баланды, огорчались, когда не хватало сушняка и приходилось таскать его из леса. Лишь изредка рутину повседневности прерывалась отдельными, незаурядными событиями, оставившими след в моей памяти.

Одно из таких событий связано с моим невольным участием в работе похоронной бригады. В тот зимний день основную похоронную бригаду отправили на лесоповал, а её печальные обязанности возложили на нашу четвёрку. И вот узкие, сколоченные лагерным плотником сани, тяжёлый, сбитый из сырых досок ящик. Совершенно голые, насквозь промерзшие и отливающие желтизной трупы. Осторожно, боясь опрокинуть скорбный груз, тащим сани по колдобинам и рытвинам. Наконец мы у цели. Вокруг столетние ели, над головами квадрат хмурого неба, у ног глубокая яма, на дне которой припорошенные снегом голые тела. Остановились, молчим. Каждый погружён в свои невесёлые мысли. Мне вспомнились детские годы, саратовское кладбище, обитый белым атласом гроб и в нём отец. Тогда тоже была зима, тоже шёл снег, и около могилы росли ели. Стоим в оцепенении. В возникшей тиши-

не слышу, как сосед слева шепчет молитву. Но конвой торопит. Вынимаем трупы из ящика и осторожно, по одному опускаем в братскую могилу. Дотянуться до дна не можем, и застекленевшие от мороза трупы падают на тех, кто внизу. Почему-то кажется, что от удара они должны зазвенеть и рассыпаться на осколки. Но звук глухой, удар смягчен снегом. Потрясённый, долго не могу прийти в себя. Представляю, как такими же голыми, неприкаянными бросают в могилу отца, мать, меня самого.

Запомнилось мне ещё одно, по лагерным меркам незначительное, но лично меня сильно взволновавшее событие. Связано оно с поездкой за хлебом. Его мы получали из пекарни, расположенной за зоной. Оттуда же получала хлеб и вольнонаёмная часть лагпункта. В тот день свод печи обвалился, и нас послали за хлебом в соседний лагерный пункт (лагпункт). И снова сани, и на них высокий, наскоро сколоченный, специально для этого случая, ящик. Тащим нелепое сооружение по давно не езженной, занесённой снегом дороге. Загрузив ящик горячим, прямо из печи, хлебом, отправляемся в обратный путь. Двое спереди, согнувшись, тянут за верёвку, я и мой богомольный напарник, тоже согнувшись, толкаем сзади. В трех шагах за нами завхоз, за ним два охранника. Ящик с крышкой, крышка с накладным замком. Но сбит ящик неплотно, много щелей. Из ящика аромат свежего хлеба, он мутит сознание, лишает воли, рот полон слюны. Нащупываю щель пошире, в неё засовываю большой и указательный пальцы. Край тёплой, живой булки хлеба. Отламываю кусок. Затем медленно, чтобы не заметили ни сосед, ни завхоз, отправляю его в рот. Жую. Новая попытка и новый кусок во рту. На душе смятение. Всё, что внушали в детстве, всё, чему учили, в чём был убеждён, чему двадцать лет следовал неукоснительно, пришло в противоречие с неодолимым желанием ощущать во рту эту теплую корку ароматно пахнущего хлеба. Съел я в общей сложности не более двухсот граммов, а чувствовал себя настоящим преступником. В висках стучало: «я вор, я вор, я взял чужое!». Острота тогдашних переживаний кажется мне теперь удивительной. Ведь ел же я без угрызений совести кашу или баланду, даваемую мне на кухне сверх нормы, хотя это по существу тоже было воровством. К мукам совести добавился страх. Боялся, что общипанный край булки обнаружат и вычислят, кто мог это сделать. А как за это бьют, я видел не единожды. Правда, это если ловили вора, укравшего хлеб у конкретного зека, а я своровал, так сказать, из общего котла. Но все равно страх мучил меня, и я до отбоя не решался зайти в барак. Может

быть, главным образом из-за этого страха я и запомнил этот случай. Но всё обошлось. О случившемся никто даже не упомянул.

Приближалось лето 1943 года. Я все еще работал на хоздворе и, хотя постоянно хотелось есть, но не «доходил». И вдруг в конце мая - этап на командировку «Четырнадцатый квартал». В лагере каждый этап для заключённого - стихийное бедствие. Только немного сориентируется, пристроится, приживётся, как направляют в совершенно новое место, где нет ни одной знакомой души и некому если не защитить, то хотя бы поддержать. И всё-таки теперь мне было уже не так страшно, как прежде. Мой лагерный кругозор заметно расширился, опыт обогатился. Я не был уже тем растерянным и оглушённым зеком, каким прибыл на Волимский лагпункт.

«Четырнадцатый квартал» был, как и Колынва, производственным лагпунктом с полным циклом лесозаготовительных работ. Как и на Колынве, здесь было сравнительно немного доходяг и уголовников. Всех их, по-видимому, отправляли на волимский лагпункт, который был в Берёзовском ОЛПе последним пристанищем гибнущих душ. Всех вновь прибывших, а было нас всего человек двадцать, определили в трелёвочную бригаду. Трелевка - следующий после лесоповала этап лесозаготовительных работ. Заготовленную и разбросанную по лесосеке деловую древесину надо было собрать, оттащить и складировать в определённое место, называемое верхним складом. Среднее расстояние трелёвки примерно пятьсот метров. С верхних складов её потом уже другие зеки на лошадях вывозили по круглолежневой дороге на расположенный у реки нижний склад. Круглолежневая дорога напоминала железную дорогу. Только вместо рельсов тонкие хлысты, прибитые к таким же игрушечным шпалам. Лес вывозили по ним на двухребортных тележках, колеса которых, вогнутые посередине, имели выпуклости по краям, что позволяло им катиться по жердям, не съезжая ни вправо, ни влево. В те военные годы трелёвка осуществлялась либо вручную, либо конной тягой. Лошадь запрягали в передок (два колеса с осью). На него взваливали толстый конец бревна, закрепляли цепью и, минуя пни и колдобины, тащили до верхнего склада. Разгрузившись, возвращались назад, и всё повторялось с начала. На словах просто, особенно для тех, кто имел опыт работы на лошадях, а таких в нашем небольшом этапе было большинство. Я же до этого никаких дел с лошадьми не имел. Правда, когда-то мы с Симачом разъезжали по Тамбову на Игоревском рысаке, но запрягал, правил и всё прочее делал Симач. Я же даже вожжи в руках не держал. Почему меня включили в

этот этап, я понять не мог. Наверное, решили, что раз я в хозбригаде, то и с лошадьми обращаться умею. А ведь там нужный нам сушняк мы носили на руках. Сани с хлебом тоже таскали вручную. Но с начальством, особенно в лагере, не поспоришь. Пришлось осваивать новое ремесло.

Доставшаяся мне лошадь была крупной, нескладной и худой. На ногах узлами выпирали суставы. Шерсть рыжая, облезлая, на впалых боках белесая. Спина в ссадинах и коросте. Грива и хвост свалывшиеся, никогда не чесанные. Запрягая её как-то утром, конюх, сочувственно посмотрев на меня, сказал:

– Ну и скотина досталась тебе, ни хрена на ней не заработаешь. Лагерный котёл её давно дожидается.

Эти слова потрясли меня и надолго определили отношение к выделенной мне кляче. Глядя в её огромные, казалось, всё понижающие страдальческие глаза, я готов был плакать от жалости к ней. На лесосеке она еле ходила и при любой возможности дремала, понуро опустив голову. К тому же, привыкшая к сочной матерной брани и пинкам, никак не хотела реагировать на мои угрозы. Перетаскивая передок с закреплённым на нем бревном через пни, валежник или вытаскивая его из ямы, мне приходилось толкать ещё и саму лошадь. Дотащившись же до склада, она редко когда останавливалась в нужном месте, протягивая бревно дальше, чем нужно, и я потом, напрягаясь из последних сил, тащил бревно назад. Силы быстро оставляли меня. Вскоре я стал похож на свою лошадь и часто, прислонясь к ней, плакал от бессилия и жалости к себе и к ней. Она косила на меня огромным слезящимся глазом, но не трогалась с места.

Позже, когда бригадир понял, что для работы с лошадью у меня не хватает ни характера, ни нужных для этого слов, меня перевели на штабелёвку. Но было уже поздно. Я еле таскал ноги. Работа багром мне не давалась. Никак не мог с размаху, как это делали другие, воткнуть шип багра в центр торца. Работяги материли меня, я был для них обузой. Это приводило меня в отчаяние. Я пытался толкать брёвна руками, скользил, падал и только ещё больше мешал работе. Отчаявшись, отошёл в сторону и стал смотреть, как опытные грузчики, ловко орудуя баграми, закатывали бревна на штабель. Со стороны работа представлялась такой лёгкой: воткнуть боковой шип багра в центр торца и толкать. Казалось, бревно само по себе катится по лежням. Но именно это мне не давалось, а отказ от работы грозил штрафным пайком и изолятором. Подошедший бригадир поставил меня на погрузку брёвен со штабеля на двухребортные тележки. Но здесь нужна была си-

ла. А её у меня не было. Уже четвёртое бревно оказалось явно не соответствующим моим возможностям. Неудачно приняв его, я растянул сухожилие. Острая боль пронзила руку, и я выронил конец бревна. К счастью, напарник свой конец удержал и только грубо выругался. В противном случае мне было бы не избежать побоев. Я совсем пал духом, покрасневшая и быстро пухнувшая рука сильно болела. Ко всему этому в суматохе прозевал обед. Полное безразличие овладело мною. Не помню, как дошёл до зоны. В санчасти поставили диагноз - тендовагинит. Более недели моя фамилия значилась в списках освобождённых. Если бы еще нормальное питание, но его не было. С рабочей пайки меня сняли. Осталось триста граммов хлеба и баланда. Это вполне могло стать концом. Спасло упоминание в разговоре с врачом санчасти об Иоганне, Ольге Ивановне и Казачёнке. Меня привлекли к уже знакомой работе статистика санчасти, благо, правая рука действовала нормально, стали подкармливать. Потом, когда рука прошла, определили в оздоровительно - профилактический пункт (ОПП), который недавно открыли на этом лагпункте для восстановления сил работающих на общих работах. ОПП чем-то напоминал Волимскую больницу. Такая же секция, вагонки, постельные принадлежности. Примерно такое же питание. Но вместо обречённых доходяг здесь были хотя и ослабевшие, но в основном достаточно молодые и крепкие люди, которых начальство надеялось, после месячного пребывания в ОПП, послать на лесоповал. Был конец августа, еще по-летнему светило солнце. На лужайке около барака росла трава, и больные, отлежавшись и отоспавшись в бараке, выходили за его стены, чтобы погреться, а некоторые и позагорать. Я же целые дни просиживал в санчасти, делая работу, которую когда-то выполнял у Ольги Ивановны Попени на Волимском лагпункте.

Сюда после долгих блужданий пришло и первое письмо от Ляли. Письмо коротенькое. К тому же несколько строк тщательно вымарано цензурой. О чём конкретно шла речь в письме, точно не помню, наверное, о том, как они живут дома, но хорошо помню, что она просила меня не забывать и писать письма маме. Помню стыд, который я испытал, прочтя письмо. Мамочка родная, любимая моя. Сколько раз я вспоминал её, но каждый раз думал, прежде всего, о себе, о своих несчастьях и редко когда задумывался о том, как трудно ей, с каким нетерпением ждёт она весточки от меня. Устыжённый, страдая и раскаиваясь, сел писать письмо. Один разрешённый тетрадный лист. Как трудно было втиснуть в него всё, что хотелось написать маме.

В конце сентября 1943-го умер статистик лагпункта. Говорили, что накануне, получив пропуск, он пошел за зону, выменял свою добротную офицерскую гимнастёрку на буханку хлеба и съел её, не имея сил остановиться. И умер от заворота кишок. В обязанности статистика лагпункта входило собирать и передавать по телефону на штабную командировку основные статистические данные: списочный состав заключённых, их использование на отдельных видах работ, объем заготовленного, трелёванного и вывезенного леса и ряд других сведений. Бумаги не было, и все эти данные записывались на дощечке, похожей на наши кухонные разделочные доски, естественно, без всяких украшений и рисунков. Передав сводку, эти данные, предварительно перенесённые в накопительную ведомость, осколком стекла соскабливали, освобождая место для новых.

Когда по рекомендации врача меня назначили на эту должность, нацарапанные карандашом числа не были стёрты. И хотя к ним не было никаких разъяснений, я довольно быстро расшифровал их смысл. Помню, как из кабинета начальника лагпункта передавал свою первую сводку. Небольшая комната, два окна, между ними начальник. Перед ним письменный стол с чернильницей. Над его головой портрет человека в пенсне. Там же, пониже, телефон с ручкой, которую нужно было при вызове абонента яростно крутить. Вдоль стен – скамейки. На них мастера, нарядчик, комендант, бригады лесозаготовительных бригад. На стуле, сбоку от стола – технорук. Большинство курят. Воздух синий от дыма. И все говорят. Кручу ручку, вызываю плановую часть, передаю сводку, попутно уточняю значение некоторых кодов. Кто-то тоненьким, писклявым голосом дает пояснения. Интересуется, куда делся статистик. На вопрос не отвечаю, не знаю, можно ли. Но собеседник настойчив. Передаю трубку начальнику. Весь взмокший от духоты и переживаний, выхожу из конторы. Пытаюсь вспомнить, что мне говорил собеседник по поводу некоторых, не расшифрованных мною кодов. До сих пор помню, что последний, тридцать шестой, код означал число сплетённых лаптей. Вот, оказывается, почему лагерное начальство, желая сказать, что обсуждение вопроса подходит к концу, говорило: “Ну вот и дошли до лаптеплетения.”

Когда время пребывания в ОПП закончилось, меня поселили в барак АТП. Условия жизни здесь были лучше, чем в бараке obsługi. Вагонки, тумбочки, общий обеденный стол, около него длинные скамейки. Обедать можно было в бараке, а не в столовой. Здесь я впервые познакомился с представителями среднего лагерного сословия: бухгалтерами, счетоводами, нормировщиками. С одним из

них, в прошлом преподавателем военного училища им. Фрунзе, мы подружились. Осторожно, чтобы не услышали посторонние, обсуждали события на фронте. Фамилия его соответствовала профессии - Войнов. Как звали его, и за что сидел - не помню. Помню, что он систематически писал в канцелярию Сталина, просил направить его на фронт. Осенью 1943 года его просьба была удовлетворена. Был Войнов заядлым курильщиком. Курил даже ночью. Прямо в бараке. Стуча кресалом по кремню, будил соседей, а едкий дым махорки завершал их пробуждение. Все возмущались и долго его материли. Однажды, желая избавить барак от его ночных курений, я намочил кончик фитиля с трутом. Он стучал и стучал, сыпались искры, а продетый в железную трубку фитиль не загорался. Уже проснулся весь барак, кто-то предложил ему зажигалку, но он продолжал бить кресалом по кремню.

Выполняя обязанности статистика лагпункта, я изучил и работу нормировщика. Профессия эта в лагере была одной из престижных. От работы нормировщика во многом зависело благополучие работяг. Официальные нормы были совершенно непосильными, особенно при том скудном питании, которое они получали. Бригады прилагали максимум изобретательности, чтобы вытянуть членам бригады сто один процент производительности. Приписывались многие километры несуществующих волоков и дорог, кубометры убранного валежника, вырубленного кустарника, утоптанного снега. Зачастую с согласия десятников приписывалась и кубатура заготовленного, стрелёванного и вывезенного леса. Делалось это часто с согласия начальников лагпунктов и даже ОЛПов, с которых вышестоящее соликамское начальство требовало выполнения плана любой ценой. В результате на складах образовывались крупные недостачи древесины, которые потом списывали на естественные потери, особенно при сплаве. Нормировщик должен был придать обрабатываемым нарядам законное основание. Для этого мне приходилось часто бывать на лесосеках, уточнять бонитет леса и условия работы бригад.

Весной 1944 года всех заключённых с лагпункта убрали и вместо них пригнали этап трудоармеек, в основном отбывших срок уголовниц. Около трехсот молодых женщин. Из прежнего состава заключённых на лагпункте оставили 14 человек. Технорука, мастеров, десятников, коменданта, нарядчика, плановиканормировщика (это меня), бухгалтеров, кладовщика. Это хорошо запомнилось, четырнадцать человек на четырнадцатом квартале. Поселили нас в санпропускнике, маленькой зоне, примыкающей к основной, через которую раньше пропускались все вновь прихо-

дящие этапы. В ней баня, прачечная, прожарка. Нашу маленькую зону охраняло несколько стрелков и два надзирателя. Охраняли основную зону, в которой жили трудоармейки, не помню. Жили мы и работали в подсобных помещениях, наскоро переоборудованных в кабинки.

С первых дней появления трудоармеек комендант и нарядчик, часто бывавшие в зоне, начали рассказывать, на мой взгляд, совершенно невероятные истории о распутстве, грубости, виртуозной брани и даже жестокости новых обитательниц зоны. Я отказывался им верить. Ни тюрьма, ни лагерь не поколебали моего благоговейного отношения к женщинам. Тем более, что до сих пор в лагере я видел всего одну женщину - Ольгу Ивановну Попеню, добрую, отзывчивую и вполне интеллигентную. Но рассказы дробились и множились, обрастая новыми фантастическими подробностями.

Однажды, собираясь в очередной обход барачков, начальник потребовал, чтобы я сопровождал его, дабы дать разъяснения по поводу применяемых норм и расценок. И вот я в женской зоне, впервые со дня размещения в ней трудоармеек. Впереди начальник, за ним надзиратели, комендант, нарядчик и я. То, что увидел, потрясло меня. Женщины без всякого стеснения ходили по барачку голые по пояс, лежа на нарах, задирали голые ноги, предлагая начальнику прикурить. Он свирепел, начинал кричать и плевать, а они отвечали нецензурной бранью и двусмысленными шутками, приглашая прийти к ним ночью. Конечно, так вели себя далеко не все женщины. Но запомнились именно они. Молодые, до предела распущенные и наглые. Их гортанный смех, дразнящие губы, непристойные речи потрясли меня, разбудив далеко не пуританские мысли. Всеми силами пытался я подавить разбушевавшееся во мне чувства. Убеждал себя, что их распущенность и цинизм только маска, за которой скрываются истерзанные и поруганные женские души. Призывал на помощь образ блоковской незнакомки, вспоминал отрывки из фаустовской вальпургиевой ночи. Но ничего не помогало. Мое пуританское воспитание дало серьезную трещину. Идеал недоступной, гордой и прекрасной незнакомки уступил желанию обладать живой, доступной, возможно, даже распущенной женской сущностью. И не стало среди окружающих нас женщин ни «страшилищ», ни «отвратных рож». В тот день я впервые ощутил процесс начавшегося во мне раздвоения.

Через несколько дней к нам на четырнадцатый квартал из ОЛПа приехал начальник культурно-воспитательной части (КВЧ) и кто-то из вольнонаёмных, шефствующих над трудармейцами. Наш

начальник собрал экстренное собрание, на которое были вызваны бригадиры, а точнее бригадирши всех женских бригад. Выглядели они вполне пристойно и вели себя сдержанно. После хорошей проработки бригадирша той самой отчаянной бригады извинялась за поведение своих девочек, как она их назвала.

Под конец, очевидно в знак примирения, начальник лагпункта принёс свой баян, и женщины довольно мило и трогательно спели несколько гражданских песен, и даже одну блатную. Заметив, что я не пою, начальник, бывший как всегда навеселе, начал придирааться, обещая посадить в изолятор

– К её девчонкам, – указывая на бригадиршу отчаянной бригады и хохоча, добавил он.

Отделался я только тем, что согласился прочесть несколько стихотворений. По обстановке подходил Есенин. Его стихи женщинам понравились, а те из них, кто был постарше, даже прослезились.

Баня, в подсобных помещениях которой мы располагались, по субботам и воскресеньям использовалась по прямому назначению. В ней мылись и обстирывались трудармейки. Во избежание не предусмотренных уставом контактов, двери, ведущие из банной и прачечной в подсобные помещения, были заперты изнутри. В одну из суббот я сидел в своей переоборудованной из чулана кабинке и обрабатывал наряды. Вдруг открылась моя дощатая дверь и со словами: “Фу, как жарко, можно у тебя здесь покурить”, - вошла молоденькая и совершенно голая девушка. Усевшись против меня на скамейку, она, глубоко затянувшись, с иронической улыбкой стала разглядывать меня. Трудно передать, что испытал я. В памяти только розовое пятно обнажённого тела. Я старался не смотреть на неё и всё-таки смотрел. Мокрые волосы, облепив голову, делали её лицо круглым и детским. Вокруг пухлого рта выступили бисеринки пота. Я молчал, не зная, что сказать. Пауза затягивалась. Отложив в сторону самокрутку, она глухим, прокуренным голосом, сказала: “Говорят, ты знаешь много стихов. Прочти хоть одно, лучше Есенина”. И я опомнился. Воспитание победило. Сначала медленно, сбиваясь, потом всё спокойнее и увереннее читал ей стихи Есенина, Блока. Незаметно исчезло обнажённое тело, остались только её огромные глаза. Где-то скрипнула дверь. Она встала и со словами: “Ну, ты и даёшь!” - вышла. А я еще долго сидел неподвижно, сжав кулаки. Вспомнился Тамбов, стог сена, такое же сумасшедшее чтение стихов. Эта мимолетная встреча не имела ни продолжения, ни последствий.

В конце лета «Четырнадцатый квартал» закрыли, а нас, четырнадцать зеков, перевели на штабную командировку берёзовского ОЛПа. Как и можно было предполагать, все бластные места были заняты. Пристроиться удалось единицам. Остальные, в том числе и я, попали на лесоповал. И снова изматывающая работа в лесу и голод. Вновь, в который уже раз, начал доходить. Спасенье пришло осенью. В штабе ВОХР испортился телефон. Помощником командира взвода работал бывший начальник командировки «Четырнадцатый квартал». Вспомнив, что я несколько раз ремонтировал у него в кабинете телефон, он велел нарядчику доставить меня к нему. Разыскали меня на лесосеке и доставили в штаб ВОХР. Телефон я починил, а через несколько дней оказался в конторе. Круг замкнулся, я снова выжил. Но ненадолго. В октябре 1944 года - этап на Усть-Язьву.

Усть-Язьвинский ОЛП располагался на левом берегу реки Язьва при её впадении в Вишеру. Основное функциональное назначение - сплав древесины. Начинался он весной, молевым сплавом, когда производственные ОЛПы, вывозившие древесину к Язьве, сбрасывали её в воду и она плыла по течению россыпью. В районе Усть-Язьвинского рейда древесину, следующую изгибам реки и особенностям течения, прибывало к левому берегу. Здесь были поставлены улавливающие запаны и сортировочные сети. Пойманные бревна распределялись по сортиментам и связывались в пучки. Из них формировались плоты, которые потом буксирами сплавляли по Вишере и Каме.

Летом, когда уровень воды в Язьве постепенно снижался, на её берегах оставалось много древесины. Для её скатки в воду формировались особые бригады, которые, двигаясь вдоль реки, где баграми, где вагами, а иногда вручную сталкивали бревна в воду. Операцию эту называли подчисткой хвоста. На первый взгляд работа эта казалась совсем легкой и даже интересной. На самом же деле это было не так. Основные силы зеки тратили на разборку завалов, беспорядочных куч брёвен, высота которых иногда достигала десятка метров. Работа эта была не только трудной, но и опасной. От одного неосторожного движения завал мог обрушиться. И тогда на людей с треском и грохотом летели многометровые брёвна. Мгновенно обретя подвижность зеки, согнувшись, разбегались в разные стороны. В таких случаях охрана, стоящая на недоступных для бревен местах, поднимала стрельбу, иногда по ногам бегущих. Откуда им было знать, не подстроено ли это нарочно, как прикрытие для побега. Иногда бригаду заставляли

вытаскивать из воды топляки, которые часто становились причиной заторов, самого неприятного явления при молевом сплаве.

По правилам, подчистку хвоста должны были делать летом, в крайнем случае, ранней осенью. Мы же прибыли в октябре. Работать было трудно. Холодно, скользко, ноги почти всегда были мокрыми. В ноябре выпал снег, но река льдом ещё не покрылась. Лежащие на земле брёвна прихватывало морозом. Их приходилось откалывать топорами. В один из таких дней охранники, решив, что кто-то из бригады задумал побег, подняв стрельбу, загнали всех нас по пояс в воду и держали в ней до прихода подмоги. В результате я и еще несколько человек из нашей бригады попали в больницу. Температура поднималась за сорок. Несколько раз терял сознание. Из больницы вышел, еле держась на ногах. Нарядчик определил на хозработы. Однажды, убирая вохровскую столовую, обнаружил под полом стойку радиотрансляционного узла. К моему удивлению, внешне она была в исправном состоянии. Даже лампы стояли на своих местах, целые и невредимые. Трудно передать чувства, которые я испытал, дотрагиваясь до матовой поверхности стойки, отдельных деталей. О находке я рассказал нарядчику. Ему же поведал, что мог бы восстановить установку. После почти месячных переговоров и согласований, которые начальник ОЛПа Дувалов вёл с Соликамскими властями, разрешение на установку усилителя было получено. В тот же день меня вызвали к нему в кабинет.

Хорошо помню двухэтажное здание, с башенкой посередине, на самом берегу Язьвы. Над башенкой красный флаг. Берег круто спускается к реке. Зимой она покрыта белой пеленой снега. Боны, из которых летом строилась запань и сортировочная сетка, на берегу. На первом этаже бухгалтерия, сплавная контора, плановая часть, комната нормировщиков. На втором, в центре, под башенкой с флагом - кабинет начальника: светлый, с круговым обзором, как рубка корабля. Массивный письменный стол. Ковровая дорожка. За столом Дувалов, миниатюрный, хорошо сложенный, с правильными чертами лица и богатой шевелюрой. Руки узкие, ухоженные. И при всем этом грубая, пересыпанная нецензурными словами, речь. Объяснил задачу. Предупредил, что все работы я должен вести только в присутствии старшего оперуполномоченного. Он был здесь же, у окна. Грузный, хмурый.

Через несколько дней выделили место. Небольшую комнатку напротив кабинета Дувалова. Стойку-панель принесли и укрепили. Я начал монтаж. Повреждений было на удивление мало. Главное, все лампы в порядке, и это просто чудо, если учесть, где «хранил-

ся» усилитель. Приемник, настроенный на Москву и запёртый в специально для этого сделанный шкафчик, после больших сомнений и колебаний принесли в радиорубку. Дверцу дополнительно опечатали сургучной печатью. Первые радиотрансляционные точки поставил в кабинете Дувалова, оперуполномоченного, в штабе ВОХР. Подключил к ним привезённые завхозом из Соликамска репродукторы. Всё! Радиоузел заработал. Запас мощности большой. Теперь я стал начальству не нужен, и меня направили на общие работы. Ругал себя за спешку, за стремление сделать работу качественно. Молил бога, чтобы что-нибудь испортилось. Но усилитель работал, а я ходил в лес.

Наконец, меня вызвали. Что-то случилось. По запаху почувствовал: сгорел силовой трансформатор. Новый не достать. Начал мотать. Нашел пробой, хорошо, что небольшой, слоёв пять. Не торопясь, устранил неисправность. На вопросы начальства отвечал, что за усилителем нужен систематический уход. Меня устроили в бухгалтерию чертить бланки и по совместительству следить за состоянием дел в радиорубке. Однако уже через пару месяцев перевели в сплавную контору под начало старшего бухгалтера Лёни Свиридова. Был он заключённым, но ходил по пропуску. Жил в зоне, в отдельной кабинке - небольшой, отгороженной от секции жилого барака комнатке: признак принадлежности к лагерной элите. В таких же кабинках жили комендант, нарядчик, старший нормировщик.

В начале 1945 года по заданию Дувалова я в его квартире и в квартирах технорука и оперуполномоченного, а также в гостиничном номере, в котором останавливались высокие гости из Соликамска, оборудовал радиоточки. Потом такие же точки, с разрешения Дувалова, я ставил в квартирах ещё нескольких живших в поселке начальников. Каждый раз после окончания работы меня кормили. Кое-что из продуктов удавалось принести в зону. В такие дни мы с Лёней в его кабинке ужинали. В марте месяце меня вызвали к Дувалову. В кабинете сидел мужчина в кожаной куртке, сапогах и портупее. Он оказался каким-то начальником над спецпоселенцами в одном из близлежащих посёлков, кажется, комендантом. И ему тоже захотелось иметь в своем посёлке радиоузел. И вот мы едем с ним в кошёвке. Ноги прикрыты какой-то шкурой. Резво, разбрасывая комья снега, бежит упитанная, ухоженная лошадь. С горечью вспоминаю своего лагерного коня. Жив ли он ещё? Расспрашиваю, каким оборудованием они располагают. Понял, что, кроме старенького СИ-235, у них ничего нет. Объясняю, что этого мало, что как минимум нужны радиодетали, схемы. Кое-

что у них всё-таки нашлось, кое-что они привезли из Соликамска. А ведь в начале войны за несданные детали давали большой срок. Наконец, собрал усилитель, конечно, не такой мощный, как наш Усть-Язьвенский. В ОЛП вернулся через неделю с двумя мешками картошки. Её сдал в овощехранилище и теперь мог в любое время выписать нужное мне количество, но не более пяти килограммов. По лагерным меркам наша с Лёней жизнь стала более чем благополучной.

В мае месяце 1945 года в Усть-Язьвенском ОЛПе вольнонаёмные и заключённые отмечали день Победы. Работы отменили, а к пайку дали дополнительно по двести граммов хлеба и по черпаку каши.

Летом 1945 года на рейде стали оборудовать линию так называемой гридневской плотки. Её основное назначение - сократить огромные потери такелажа: цепей, канатов, проволоки, которые расходовались при вязке плотов. Агрегат гридневской плотки напоминал дебаркадер. Стоял он на плаву у самого берега. На нём гремевший на весь поселок дизель. Вдоль дебаркадера протока, по которой самосплавом, одно за другим плыли брёвна. Сначала огромным сверлом на расстоянии полуметра от каждого из концов в них сверлили дыры. Затем половину продырявленных бревен «разваливали» – распиливали вдоль циркулярной пилой. Здесь же вытачивали нагеля – метровые деревянные гвозди, соответствующие просверленным в брёвнах отверстиям. Из этих заготовок собирали деревянную цепь: целое бревно в конце соединяли нагелем с приложенными к нему с двух сторон половинками; в конце вновь целое бревно и т.д. Полученной цепью окружали несколько десятков пучков. Получалось нечто вроде кошеля. Из них вязали плот. Меня привлекли к расчётным работам, связанным с формированием и вождением плотов, прошедших гриднёвскую плотку.

В июне для ускорения работ по организации гриднёвской плотки на специальном ведомственном катере приехал Усольлаговский начальник сплава Умнов. Рассказывали, что корпус его катера укреплен бронированными листами, что при необходимости он может крошить чуть ли не десятисантиметровый лёд. Говорили, что на катере обложенная керамической плиткой душевая, отделанная морёным дубом экзотическая кают-компания. И еще много что рассказывали про этот катер и про его хозяина. В последний год пребывания в лагере мне пришлось проехать на умновском катере и должен подтвердить, что люди были недалеко от истины.

Сам Умнов, как меня уверял Лёня, был грамотным специалистом. Худой, высокий, немного сутулый, в военном френче и сапо-

гах, он был быстр, решителен и властен. Умел быстро вникать в суть явления и толково обосновывать принятое решение. Говорят, его очень уважал и ценил начальник Усульлага. Возможно, отсюда его решительность и властность. Моё с ним знакомство произошло при весьма пикантных обстоятельствах. Был выходной. В конторе никого не было. Мы с Лёней в кабинке пьем чай. Вдруг вбегает нарядчик.

– Срочно в гостиницу, к Умнову. У него не работает радио. Конвоир у вахты.

Прихожу в гостиницу. Дежурная ведет меня к нужному номеру. Стучит. Из номера голос:

– Входите!

Открываю дверь. Большая комната, трюмо, стол, накрытый красной бархатной скатертью, диван, обтянутый плюшем. Слева кровать. В кровати полураздетая секретарша Дувалова. На краю кровати, полуобернувшись к двери, сидит Умнов. На его ногах тапочки. Рядом со мной дежурная. За спиной охранник. Немая сцена.

– Ну и что? Что вам надо? - спрашивает, как ни в чем не бывало Умнов.

Поняв, что я пришел ремонтировать радиоточку, требует:

– Только побыстрее. Скоро сводка погоды. Розетка у окна.

Становлюсь спиной к Умнову, торопливо восстанавливаю проводку. Выхожу боком, не глядя в сторону кровати. Ни спасибо, ни до свидания. В коридоре охранник прищёлкивает языком:

– Ну и баба.

На следующий день знакомство более обстоятельное. Обсуждаются параметры плота, прошедшего гриднёвскую сплотку. С опаской сообщаю результаты своих расчётов. Умнов доволен. Вечером, зайдя в сплавную контору, он обращается ко мне:

– Говорят, вы хорошо играете в шахматы. Зайдите вечером ко мне в номер.

Опять шахматы. И не знаю, выигрывать мне или проигрывать. «Зеваю» слона. Он возвращает. Приходится выигрывать.

В конце ноября 1945 года с окончанием сплавных работ заключённых с Усть-Язьвинского ОЛПа убрали. Здесь теперь должны были работать вольнонаёмные и трудармейцы. Нас с Лёней по спецнаряду Умнова отправили на Кушмангортский ОЛП для работы в сплавной конторе. Прошло 1335 дней со дня ареста. Впереди еще 2315. Но теперь нет войны, и, кажется, я окончательно выбрался из пропасти, утвердился, выжил.